

# Аммалат-бек -2/ продолжение

Category: Kitarcy, Powestler

написано kitarcy | 24 января, 2025

Аммалат-бек -2/ продолжение ГЛАВА II

Вешний полдень сиял над высью Кавказа, и громкие крики мулл звали жителей Чечни к молитве. Постепенно возникали они от мечети до незримой за гребнями мечети, и одинокие звуки их, на миг пробуждая отголосок утесов, затихали в неподвижном воздухе.

Мулла Гаджи-Сулейман, набожный турок, один из ежегодно насылаемых в горы стамбульским диваном для распространения и укрепления православия, а с тем вместе и ненависти к русским, отдыхал на кровле мечети, совершив обычный призыв, омовение и молитву. Он был еще недавно принят муллою в чеченском селении Игали, и потому, погруженный в глубокомысленное созерцание своей седой бороды и кружков дыма, летящих с его трубки, порою он поглядывал с любопытным удовольствием и на горы и на ущелие, лежащее к северу, прямо под его глазами. Влево возникали стремнины хребта, отделяющего Чечню от Аварии, далее сверкали снега Кавказа. Сакли, неправильно разбросанные по обрыву, уступами сходили до полугоры, и только узкие тропинки вели к этой крепости, созданной природою и выисканной горскими хищниками для обороны воли своей, для охраны добычи. Все было тихо в селении и по горам окрестным; на дорогах и улицах ни души... Стада овец лежали в тени скал, буйволы теснились в грязном водоеме у ключа, выставя одни морды из болота. Лишь жужжание насекомых, лишь однозвучная песня кузнечика были голосом жизни среди пустынного безмолвия гор, и Гаджи-Сулейман, залегши под куполом, вполне наслаждался тишью и бездействием природы, столь сходными с ленивою неподвижностью турецкого характера. Тихо поводил он глазами, в которых погас свой огонь и потуск свет солнца, и, наконец, взоры его встретили двух всадников, медленно взбирающихся вверх по противоположной стороне ущелия.

— Нефтали! — закричал наш мулла, обратившись к ближней сакле,

у дверей которой стоял оседланный конь.

И вот стройный чеченец с подстриженною бородкою, в мохнатой шапке, закрывающей пол-лица, выбежал на улицу.

— Я вижу двух вершников, — продолжал мулла, — они объезжают селение!

— Верно, жида, либо армяне, — отвечал Нефтали, — им, конечно, не хочется нанимать проводника; да они сломят себе шею на объездной тропинке.

Там и дикие козы, и наши первые удалыцы скачут оглядываясь.

— Нет, брат Нефтали, я два раза ходил в Мекку (Гаджи, собственно, значит путешественник, но придается вроде титула тем, кои были в Мекке. Они имеют право носить белую витую чалму; шагиды редко, однако ж ее носят. (Примеч. автора.)) и навидался армян и жидов во всех сторонах... Только эти всадники не тем глядят, чтобы им торговать по-жидовски, — разве на перекрестке менять железо на золото! С ними нет и вьюков. Взгляни-ка сам сверху, твои глаза вернее моих; мои отжили и отглядели свое. Бывало, за версту я мог считать пуговицы на кафтане русского солдата и винтовка моя не знала промаха по неверным, а теперь я и дареного барана вдали не распознаю.

Между тем Нефтали стоял уже подле муллы и орлиным взором своим следил проезжих.

— Полдень жарок, и путь тяжел, — промолвил Сулейман, — пригласи путников освежить себя и коней; может, не знают ли чего новенького, да и принимать странника крепко-накрепко заповедано Кураном.

— У нас в горах и раньше Курана ни один путник не выходил из деревни голоден или грустен, никогда не прощался без чурека, без благословения и без провожатого в напутье; только эти люди мне подозрительны: зачем им обегать добрых людей и по околицам, с опасностью жизни, миновать деревню нашу?

— Кажется, они земляки твои, — сказал Сулейман, осенив глаза рукою, чтобы пристальнее взглядеться. — На них чеченское платье. Может быть, они возвращаются из набега, куда и твой отец помчался с сотнею других сосе-дов; или, может быть, едут братья мстить кровью за кровь.

— Нет, Сулейман, это не по-нашему. Утерпело ли бы сердце

горское не заехать к своим похвалиться молодечеством в бою с русскими, пощеголять добычью? Это и не кровоместники и не абреки: лица их не закрыты башлыками; впрочем, одежда обманчива, и кто порука, что это не русские беглецы?

Недавно из Гумбет-аула ушел казак, убив узденя хозяина, у которого жил, и завладев его конем, его оружием... Черт силен!

— На тех, у кого слаба вера, Нефтали... Однако, если я не ошибаюсь, у заднего всадника из-под шапки вьются волосы!

— Пускай я рассыплюсь прахом, если не правда! Это или русский, или еще и того хуже, шагид-татарин (Все горцы плохие мусульмане, но держатся секты сунни; напротив, большая часть дагестанцев шагиды, как и персияне...

Обе секты сии ненавидят друг друга от чистого сердца. (Примеч. автора.)).

Постой, приятель, я расчешу тебе твои зильфляры (кудри); через полчаса я возвращусь, Сулейман, или с ними, или кто-нибудь из нас троих упитает горных беркутов.

Нефтали стремглав сбежал с лестницы, накинув на плечо ружье, прыгнул в седло и помчался с горы кубарем, не разбирая ни рытвин, ни камней. Только пыль взвивалась и камни катились следом за бесстрашным наездником.

— Алла акбер! — преважно сказал Сулейман и закурил трубку.

Нефтали скоро догнал всадников. Усталые кони их, покрытые пеною, кропили потом узкую, стремнистую стезю, по которой взбирались они в гору.

Передний был в кольчуге, задний в черкесском платье; только персидская сабля вместо шашки висела на позументовом поясе. Левая рука его была окровавлена, перевязана платком и висела на темляке. Лиц обоих не мог он видеть. Долго ехал он сзади по скользкой тропе, висящей над пропастью, но при первой площадке заскакал вперед и поворотил коня навстречу.

— Селам алейкюм, — сказал он, преграждая путь на едва пробитую в скале стезю и выправляя оружие.

Передовой всадник поднял бурку на лицо, так что лишь одни нахмуренные брови его остались видимы.

— Алейкюм селам! — отвечал он, взводя курок ружья и укрепляясь в стременах.

– Дай бог доброго пути, – молвил Нефтали, повторяя обыкновенный привет встречи и между тем готовясь при первом неприязненном движении застрелить незнакомца.

– Дай тебе бог ума, чтобы не мешать путникам! – возразил нетерпеливо противник. – Чего ты хочешь от нас, кунак?

– Предлагаю покой и братскую трапезу вам, ячмень и стойло коням вашим. Порог мой искони цветет гостеприимством. Благодаренье путников множит стада и закаляет оружие доброго хозяина... Не кладите же клейма упрека на все наше селение, чтоб не сказали: «Они видели путников в полдневный жар и не освежили, не угостили их!»

– Благодарим за участие, приятель. Мы не привыкли на своре ходить в гости... да и быстрота для нас нужнее покоя.

– Вы едете навстречу гибели, не взявши провожатого.

– Провожатого! – воскликнул путник. – Да я знаю все туринские стежки на Кавказе, не только ваши конные проезды. Я бывал там, куда не ползали змеи, не взбирались тигры, не летали орлы ваши... Отсторонись, товарищ... на божьей дороге нет твоего порога; мне некогда точить с тобою вздоры.

– Я не уступлю шагу, покуда не узнаю, кто ты и -ет-кудова.

Дерзкий мальчишка! прочь с дороги... иль через миг твоя мать будет вымаливать у чакалов и ветров твои раздробленные кости! Благодарю судьбу, Нефтали, что я водил хлеб-соль с отцом твоим и не раз обок с ним пускал коня в сечу. Недостойный сын! Ты бродишь по дорогам и готов нападать на мирных путников, а тело отца твоего тлеет теперь на полях русских, и жены казаков продают на станичном базаре его оружие!!! Нефтали! отец твой убит вчерась за Терекон: узнай меня!

– Султан-Ахмет-хан! – вскричал чеченец, пораженный нечаянным, пронзающим взором хана и страшную весть; голос его замер; он упал на гриву коня в тоске невыразимой.

– Да, я Султан-Ахмет-хан! Но врежь в память, Нефтали, что, если ты скажешь кому-нибудь: «Я видел Аварского хана», месть моя переживет поколения!

Странники проехали мимо.

Хан безмолвствовал, погруженный, как видно, в неприятные воспоминания; Амалат-бек (это был он) – в черные думы. У

обоих платье носило следы недавнего боя, усы были опалены вспышками полки, и брызги чужой крови засохли на лицах. Но гордый взор первого вызывал, казалось, на бой судьбу и природу; мрачная улыбка досады, смешанная с презрением, сжимала уста.

Напротив, истома была написана на бледном лице Ам-малата. Он едва поводил полузакрытыми глазами, и порою стон вырывался от боли в раненой руке его: неровный ход татарского, непривычного к горным дорогам коня еще более разбережал рану. Он первый прервал молчание.

– Почему ты отказался от предложения этих добрых людей? Заехали бы отдохнуть часочек-другой и по росе помчались бы далее.

– Ты думаешь, потому что ты чувствуешь, как юноша, любезный Аммалат.

Привык ты повелевать своими татарами, как рабами, и полагаешь, что так же легко обходиться с вольными горцами! Рука судьбы отяготела над ними: мы разбиты и прогнаны, сотни храбрых горцев, твои и мои нукеры легли в битве с русскими... и показать чеченцам побежденное лицо Султан-Ахмет-хана, которое привыкли они видеть звездой победы, явиться посреди их беглецом, быть вестником своего позора, принять нищенское угощение, может быть слышать укоры за гибель мужей и сынов, увлеченных мною в дерзкий набег, – значит навсегда потерять их доверие. Пройдет время, слезы высохнут, жажда мести заменит тоску по убитым, и тогда снова увидят они Султай-Ахмета, пророка добыч и крови; тогда снова раздастся в этих горах призыв к бою, и снова поведу я летучие толпы мстителей в русские границы. Приди я теперь, и в пылу огорчения чеченцы не рассудят, что аллах дает и отнимает победу... Они могут, пожалуй, обидеть меня дерзким словом, а мои обиды неискупимы, и личная месть может заградить широкую дорогу на русских. Зачем же накликать себе ссору с храбрым народом и сокрушать идола собственной славы, на который привыкли они глядеть с изумлением? Человек никогда не кажется обыкновеннее, как в бессилии, когда всякий безбоязненно может померять с ним плечо. Притом, тебе нужен искусный лекарь, а нигде не найдешь ты лучшего, как у меня.

Завтра мы будем дома; потерпи до тех пор.

Аммалат-бек с признательностью приложил руку к сердцу и ко лбу: он чувствовал вполне справедливость речей хана, но слабость одолевала его с каждым часом.

Избегая селений, они провели ночь между утесами, питаясь горстью пшена, варенного с медом, без которого горцы редко отправляются в дорогу.

Переправясь через Койсу, по мосту близ Аширте, они давно уже оставили за собой северный рукав ее, и Анде, и землю койсубулинцев, и голый хребет Салатау. Непроторенный путь их лежал по лесам, по крутизнам, ужасающим взор и дух; и вот стали они взбираться на последний хребет, разделяющий их с севера от Хунзаха, или Авара, – столицы ханов. Исчез и лес и кустарник на кремнистой пустыне гор, по которой кочуют лишь облака и вьюги. Чтобы достичь гребня, принуждены были паши путники ехать то вправо, то влево реями: так стремниста была круть утесов. Привычный конь хана осторожно и верно ступал с камня на камень, пытал копытом, не катятся ли они, и на хвосте сползал в обрывы; но гордый, пылкий жеребец Аммалата, питомец холмов дагестанских, горячился, прядал и оступался. Избалованный холею, он не мог выдержать двухдневного побега на зное солнца и холоду вершин, по острым скалам, едва подкрепленный скудной травой в расселинах. Тяжело храпел он, взбираясь выше и выше; пот струею бежал с нагрудника; широкие ноздри пытели огнем, и пена кипела на удилах.

– Аллах-Берекет! – воскликнул Аммалат, достигнув до вершины, с которой открылся ему вид на Аварию, по в ту же минуту изнемогший конь грянулся под ним на землю, кровь хлынула из оскаленного рта, и последний вздох его порвал седельную подпругу.

Хан поспешил помочь беку выбиться из стремян. Он со страхом заметил, что усилия сдвинули перевязку с раны Аммалатовой, и кровь пробилась снова.

Молодой человек, казалось, был нечувствителен к боли: слезы его катились о павшем бегуне... Так одна капля не наполняет, на переполняет чашу.

– Ты уж не будешь носить меня как пух по ветру, – говорил он,

– ни в пыльном облаке на скачке, слыша за собой досадные клики соперников и восклицания народа, ни в пламя битвы; уже не вынесешь еще однажды из-под чугунного дождя русских пушек. Г тобой добыл я славу наездника; зачем же мне переживать и ее и тебя?!

Он склонил лицо в колена и долго, долго безмолвствовал, между тем как хан заботливо перевязывал раненую его руку. Наконец Аммалат поднял голову.

– Оставь меня, Султан-Ахмет-хан, – сказал он решительно, – оставь несчастливца собственной участи. Путь далек, а я изнемогаю. Оставшись со мной, ты даром погибнешь. Взгляни, как вьется над нами орел: он чувствует, что мое сердце скоро замрет в когтях его... И слава богу. Лучше найти воздушный гроб в хищной птице, чем отдать свой прах под ногу христианина. Прощай, не медли.

– Не стыдно ли тебе, Аммалат, падать, запнувшись за соломинку?..

Велика беда, что ты ранен, что конь твой пал! Рана заживет до свадьбы, коня найдем лучше прежнего, и впереди у аллаха не одни беды приготовлены. В цвете лет и в мужестве ума грешно отчаиваться. Садись на моего коня: я поведу его под уздцы, и к ночи мы дома. Время дорого!

– Для меня уже нет времени, Султан-Ахмет-хан... Благодарю от сердца за твою братскую заботливость, но я не попользуюсь ею; тебе самому не вынести пешеходного пути после такой усталости. Повторяю: оставь меня на произвол судьбы. Здесь, на неприступных высотах, умру я волен и доволен...

Да и чем может манить меня жизнь! Родители мои лежат в земле, жена лишилась зрения, дядя и тесть шахмал ползают в Тарках перед русскими; в родине, в наследии моем пируют гяуры, и теперь сам я изгнанник из дому, беглец из боя. Я не хочу и не должеп жить!

– Не должен бы говорить такого вздора, любезный Аммалат, и одна только лихорадка извиняет тебя. Мы созданы для того, чтоб жить долее отцов наших; жен ты можешь найти еще три, если одна не наскучила; если не-люб тебе шамхал, а любо твое кровное наследство, так для этого самого и надо тебе жить: потому что

для мертвеца не нужна власть и невозможна победа.

Мстить русским – святой долг: оживи хоть для него; а что мы разбиты, это не новость для воина; сегодня выпадает удача им, завтра выпадет нам. Аллах дает счастье, но человек создает себе славу не счастьем, а твердостью...

Ободришь, друг Аммалат... Ты ранен и слаб, я крепок привычкою и не утомлен бегом; садись на коня, и мы еще побьем не раз русских!

Лицо Аммалата вспыхнуло...

– Да, я буду жить для мести им! – вскричал он, – для мести тайной и явной. Верь, Султан-Ахмет-хан, лишь для этого я принимаю твое великодушие!.. Отныне я твой... клянусь гробом отца: я твой! Руководи моими шагами, направляй удары моей руки, и если я, потонув в неге, забуду клятву свою, напомни мне эту минуту, эту вершину: Аммалат-бек пробудится, и кинжал его будет молния!

Хан обнял, поднимая на седло, воспламененного юношу.

– Теперь я узнаю в тебе чистую кровь эмиров, – сказал он, – кровь пламенную детей гор, которая, как сера, течет в жилах наших и в недрах утесов и порой, вспыхивая, потрясает и рушит громады.

Поддерживая одною рукою в седле раненого, хан осторожно стал спускаться с обнаженного черепа. Случалось, камни с шумом катились из-под ног или конь скользил вниз по гладкому граниту, а потому они очень рады были, добравшись до мшистой полосы. Мало-помалу кудрявые растения начали расстилать свою зеленую пелену, то вея из трещин опахалами, то спускаясь с крутин длинными плетеницами наподобие лент и флагов. Наконец они въехали в густой лес орешников, потом дуба, черешни и еще ниже чинара и чиндара.

Разнообразие, богатство растений и величавое безмолвие сенистых дубрав вселяло какое-то невольное благоговение к дикой силе природы. Порой из ночного мрака ветвей, как утро, рассветала поляна, украшенная благоуханным ковром цветов, не мятых стопой человека. Тропинка то скрывалась в чаще, то выходила на край утеса, и под ним в глубине шумел и сверкал ручей, то пенясь между камнями, то дремля на каменном дне

водоема, под тенью барбариса и шиповника. Фазаны, сверкая радужными хвостами, перелетывали в кустарниках; стада диких голубей вились над скалами то стеной, то столбом, восходящими к небу, и закат разливал на них воздушный пурпур свой, и тонкие туманы тихо подымались в ущелиях; все дышало вечернею прохладой, незнакомую жильцам полей.

Уже путники наши были близки к селению Акок, лежащему за небольшой горой от Хунзаха. Невысокий гребень разделял их с этим селением, когда ружейный выстрел раздался в горах и, как зловеющий знак, повторился отголоском утесов. Путники остановились в недоумении: перекааты постепенно затихли.

— Это наши охотники, — сказал Султан-Ахмет-хан, отирая пот с лица. —

Они не ждут меня и не чают встретить в таком положении. Много радостных, много и горестных слез принесу я в Хунзах!

Непритворная горесть изобразилась на грозном лице Ахмет-хана: все нежные и все злобные чувства так легко играют душой азиатца!

Другой выстрел, однако ж, развлек его внимание... Удар и удар еще...

Выстрелы отвечали выстрелам и, наконец, слились в жаркую перепалку.

— Там русские! — вскричал Аммалат, выхватывая из ножен саблю, и сжал каблуками коня, как будто одним прыжком хотел перепрыгнуть за гребень, но мгновенные силы его оставили, и клинок, звуча, покатился из опавшей руки. —

Хан, — сказал он, ступая на землю, — спешите на помощь своим землякам: ваше лицо будет для них дороже сотни воинов.

Хан не слышал слов его: он прислушивался к полету пуль, как будто желая различить русские от аварских.

— Ужели с легкостью коз заняли они и крылья у орлов Казбека! И откуда могли они пройти на наши неприступные твердыни? — говорил он, весь склонясь над седлом, со вложенною в стремя ногою. — Прощай, Аммалат! — вскричал он наконец, услышав, как загорелась сильней пальба. — Я еду погибнуть на развалинах, разразясь, как перун, ударом!

В это время пуля, жужжа, упала к ногам его; он наклонился,

поднял ее, и лицо его просияло улыбкою. Спокойно вынул он ногу из стремени и обратился к Аммалату.

— Садись верхом, — сказал он ему, — скоро ты своими глазами разгадаешь эту загадку... У русских свинцовые пули, а это медная, аварская (Не имея собственного свинца, аварцы большею частью стреляют медными пулями, ибо у них есть медные руды. (Примеч. автора.)), моя милая землячка.

Притом же она прилетела с южной стороны, откуда никак не могут прийти русские.

Они въехали на вершину гребня, и взорам их открылись две деревни, лежащие на двух противоположных краях глубокой рывины; и из них-то производилась перестрелка. Жители, залегши за камнями, за оградами, палили друг в друга. Между ними беспрестанно бегали женщины, с воплем и плачем, когда какой-нибудь удалец, приблизясь к самому краю пропасти, падал раненый. Они носили каменья и заботливо и бесстрашно под свистом пуль складывали перед ним род щита. Радостные крики раздавались на той или другой стороне, когда видели, что выносят из дела раненого противника.

Печальные стоны оглашали воздух, когда падал кто-нибудь из родных или товарищей. Аммалат долго и с удивлением смотрел на битву эту, в которой было более грома, чем вреда. Наконец он обратил вопрошающий взор к хану.

— У нас это обыкновенная вещь, — отвечал тот, любясь каждым удачным выстрелом. Такие сшибки поддерживают между нами воинственный дух и боевой навык. У вас частные ссоры кончаются несколькими ударами кинжала; у нас они становятся общим делом целых селений, и самая безделица может дать к тому повод. Я чай, и теперь дерутся за какую-нибудь украденную корову, которую не хотели отдать. У нас не стыдно воровать в чужом селении; стыдно только быть уличену в том. Полюбуйся на смелость наших женщин, пули, как мухи, жужжат, а им и горя мало! Достойные матери и жены богатырей!.. Конечно, в великий стыд вменится тому, кто ранит женщину; да ведь за пулю нельзя поручиться. Острый глаз направляет ее, но слепая судьба несет в цель.

Однако темнота льется с пеба и разлучает минутных врагов.

Поспешим к родным моим.

Одна привычка хана могла спасти наших путников от частых падений по крутому спуску к реке Узени. Амма-лат почти ничего не видал перед собою: двойная завеса ночи и слабости задерживала его очи; голова его кружилась; будто сквозь сон взглянул он, поднявшись снова на высоту, на ворота дома ханского, на сторожевую башню. Неверной ногой ступил он на землю среди двора, среди восклицаний нукеров и челядинцев, и едва перешагнул за решетчатый порог гарама, дух его занялся, смертная блед-пость бросила снег свой на лицо раненого, и юный бек, истощенный кровью, утомленный путем, голодом и душевною тоскою, без чувств упал на узорные ковры.

### ГЛАВА III

Аммалат пришел в память на заре.

Медленно, поодиночке сходились в ум его мысли, и те мелькали, будто в тумане, от чрезвычайного расслабления. Он вовсе не ощущал боли в теле своем, и это состояние было даже приятно ему: оно отнимало у жизни горе, у смерти – ужас, и в эту пору он услышал бы весть о выздоровлении так же беспечно, как весть о неизбежной кончине. Ему не хотелось молвить слова, пошевелить пальцем. Это полуусыпление было, однако ж, непродолжительно. В самый полдень, после посещения лекаря, когда прислужники разошлись исполнять обряды полуденной молитвы, когда стих усыпляющий говор их и только крик муллы раздавался вдали, Аммалат слышал тихие, осторожные шаги по коврам спальни. Он приподнял тяжелые веки, и сквозь сеть ресниц показалось ему, что прелестная черноокая девушка, в оранжевой сорочке, в глазетовом архалуке с двумя рядами эмалевых пуговиц, с длинными косами, распущенными по плечам, тихо приблизилась к его ложу и так заботливо обвела его чело, так сострадательно взглянула на рану, что в нем затрепетали все жилки. Потом осторожно налила она лекарства в чашечку и... больше не мог он рассмотреть: веки его опали как свинец; он только ловил слухом шелест ее шелкового платья, будто шум крыльев улетающего ангела, и снова все стихло. И каждый раз

потом, когда нетвердый еще разум его хотел разгадать ее появление, оно сливалось с неясными грезами горячки, так что первым вздохом, первым словом его, когда он очнулся, было: «Это сон!»

Но это не был сон.

Прелестная эта девушка была шестнадцатилетняя дочь Султан-Ахмет-хана.

У всех горцев вообще незамужние пользуются большою свободою обращения с мужчинами, несмотря на закон Магомета. Тем более независима была любимая дочь хана. Подле ней только отдыхал он от забот и досад; подле ней только лицо его находило улыбку, а сердце – шутки. В кругу ли аварских старшин и узденей рассуждал он о делах горской политики, или давал суд правым и виноватым, между домашними ли слушал рассказы о прежних удальствах, или замышлял новые набеги, она прилетала, как ласточка, и приносила ему весну душевную. Счастье было того виноватого, на чье осуждение являлась она при отце. Взмахнутый кинжал оставлялся на воздухе, и часто, взглянув на нее, хан отлагал кровавые замыслы, чтобы не разлучаться с милою дочерью. Все было ей позволено, все доступно. Запретить ей что-либо не подумал бы Ахмет-хан ни для каких обычаев, ни для каких пересудов; а подозрение в чем-нибудь, недостойном ее пола или ее сана, было так же далеко от его мыслей, как от ее сердца. Да и кто мог ей внушить нежные чувства из окружающих хана? Склонить свои мысли, унижить свои чувства до человека, низшего ее родом, было бы неслыханным позором для дочери последнего узденя; тем выше ханская дочь от самой колыбели напивалась гордынею предков, и она, как ледяное забрало, отделяла сердце ее от всего видимого общества.

Доселе ни один гость не был равен с нею родом; по крайней мере ни про одного не спросило о том сердце. Вероятно, что и беспечный, бесстрастный возраст ее был тому виною, может быть, но теперь час любви пробил, и сердце встрепетнулось в груди неопытной красавицы. Она спешила заключить в объятия отца и со страхом увидела прекрасного юпошу, падающего как мертвец к ногам ее... Первое ее чувство был ужас; но когда отец рассказал, как и почему Аммалат гость его, когда сельский лекарь объявил,

что рана неопасна, нежное соучастие к раненому проникло все ее существо. Целую ночь напролет мечтался ей окровавленный гость, и она встретила зарю впервые не так румяная, как варя; в первый раз прибегла она к хитрости, чтобы взглянуть на приезжего, вошла в комнату его, чтобы поздороваться с отцом, и потом вкралась туда в полдень. Непостижимое, неодолимое любопытство влекло ее посмотреть на глаза Аммалата. Никогда в детстве не желала она так сильно игрушки, никогда в настоящем возрасте не манило ее так неодолимо новое, богатое платье или блестящее украшение, как страстно хотелось ей встретить глаза гостя; и, наконец, ввечеру она встретила томный, но выразительный, беспламенный, но светлый взор его. Она не могла отвести очей с черных очей Аммалата, прилепленных к ней. Казалось, они говорили: «Не скрывайся, звезда души моей!», поглощали исцеление и отраду из ее взоров. Она не знала, что с нею делается, не чувствовала, на земле ли была она или в воздухе носилась; летучие краски сменялись на лице ее. Наконец она решилась дрожащим голосом спросить его о здоровье...

Надо быть татаринном, который считает за грех и обиду сказать слово чужой женщине, который ничего женского не видит, кроме покрывала и бровей, чтобы вообразить, как глубоко возмущен был пылкий бек взором и словом прелестной девушки, столь близко и столь нежно на него брошенным. Сладкий огонь пробежал по сердцу его, несмотря на слабость.

— О, мне очень хорошо теперь, — отвечал он, стараясь приподняться, — так хорошо, что я бы готов был умереть, Селтанета.

— Алла сахла-сын (бог да сохранит тебя), — возразила она. — Живи, живи долго!.. Неужели не жаль тебе жизни?

— В сладкие минуты сладка и смерть, Селтанета. А если б я прожил еще сто лет, краше настоящей не нашел бы!

Селтанета не поняла слов гостя, но она поняла взор его, поняла выражение его голоса. Она покраснелась еще более и, сделав рукою знак, чтоб он успокоился, упорхнула из комнаты.

Между горцами есть весьма искусные лекаря, особенно для всех переломов и ран; но Аммалата исцеляло лучше всех трав и пластырей присутствие милой горянки. С приятною надеждою

засыпал он, уверенный, что увидит ее во сне, и радостен просыпался, зная, что наяву с нею встретится. Силы его возвращались быстро, и с силами росла привязанность к Селтанете, Аммалат был женат, но, как водится на Востоке, для одних расчетов. Он никогда не видал до свадьбы невесты своей и после ничего не нашел в ней привлекательного, ничего такого, чю бы могло пробудить его спящее сердце.

Впоследствии жена его ослепла, и это обстоятельство еще более охладило связь, основанную на азиатской чувственности. Семейная неприязнь к тестю и дяде шамхалу еще более разделяла молодых супругов, до того, что они очень редко бывали вместе. Мудрено ли ж после этого, что юноша, пылкий по природе, своевластный по привычке, загорелся новою для него любовью! Быть с нею было для него самым высоким счастьем, ждть ее появления – приятнейшим занятием. Бывало, он вздрогнет, чуть заслышит ее голос; каждый звук, будто луч солнца, проникал в душу, и ощущение его походило на боль, но боль так восхитительную, что он желал бы навеки продлить ее. Мало-помалу знакомство между молодыми людьми скрепилось в дружбу... Они почти беспрестанно бывали вместе. Хан часто уезжал внутрь Аварии по делам хозяйства, по расправам, по военным распоряжениям, оставляя гостя на попечение жены своей, тихой, молчаливой женщины. Он очень видел склонность Аммалата к дочери своей и втайне тому радовался; это оживляло его честолюбивые и воинственные виды: родство с беком, имеющим право на шамхальство, предавало ему в руки тысячу поводов и средств вредить русским. Ханша, занимаясь урядом домашним, оставляла нередко по целым часам Аммалата в покоях своих, как родного, и Селтанета, с двумя или тремя своими приближенными девушками, сидя на подушке за рукодельем, не видела, как летит время, то разговаривая с гостем, то внимая его рассказам. Бывало и то, что долго, долго сиживал Аммалат, склонясь у ног своей Селтанеты, не вымолвив слова, то глядясь в черные, поглощающие глаза ее, то любуясь с ней горными видами из окна ее, обращенного к северу, и крутыми берегами и крутыми изворотами гремучей Узени, над которою висит замок ханский. Подле этого детски невинного существа забывал Аммалат желания,

которых она еще не знала, и, тая в неизвестном, непонятном для него наслаждении, он не думал ни о прошедшем, ни о будущем; он не думал ни о чем, он только мог чувствовать и беззаботно, не отнимая от чаши уст, пил блаженство каплю по капле.

Так протекло лето.

Аварцы – народ свободный. Они не знают и не терпят над собой никакой власти. Каждый аварец называет себя узденем, и если имеет есыря (пленного), то считает себя важным барином. Бедны, следственно, и храбры до чрезвычайности; меткие стрелки из винтовок, славно действуют пешком; верхом отправляются только в набеги, и то весьма немногие. Лошади их мелкие, но крепки невероятно; язык дробится на множество наречий, но в основе лезгинский, ибо и сами аварцы племени лезгинского. Помнят христианскую веру, ибо не более ста двадцати лет поклонились Магоммеду, но до сих пор плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное, называемое у них джапа. Верность аварского слова в горах обратилась в пословицу. Дома тихи, гостеприимны, радушны, не прячут ни жен, ни дочерей; за гостя готовы умереть и мстить до конца поколений.

Месть для них – святыня, разбой – слава. Впрочем, нередко принуждены бывают к тому необходимостью. Выходя по вершине Аталы и Тхезерук, через хребет Тур-нитау в Кахетию, за реку Алазань, для сельских работ, из очень скудной платы, они нередко остаются дня по два и по три без дела и потом, сговорившись, как голодные волки, бросаются ночью на ближние селения и, если удастся, угоняют стада, похищают женщин, захватывают пленников, но всего чаще слагают свои буйные головы в неравном бою. В русские границы впадения их затихли с тех пор, как укротили акуншнцев, и Аслан-хан Кумыкский стережет через его владения лежащий выход из Аварии. Но селение Хунзах, или Авар, лежащее на восточном краю Аварии, искони составляет наследие ханов, и власть их там закон. Но имея право велеть своим нукерам изрубить кинжалами любого жителя Хунзаха, даже любого проезжего, хан не смеет наложить никакой подати, никакой пошлины на народ и должен довольствоваться доходами со стад и с полей своих,

обрабатываемых карава-шами (рабами) и есырями (пленниками). Не бравши, однако ж, прямых налогов, ханы не отказываются от требования повинностей, освященных более силою, чем обычаем. Взять во двор мальчика или девку, нарядить подводы на волах или буйволах для собственной перевозки или работы, послать гонца и тому подобное – суть вещи ежедневные. Жители Хунзаха живут, однако же, богаче всех своих одноземцев; дома их чисты и почти все в два яруса; мужчины стройны, женщины красивы, тем более что между ними множество грузинок, захваченных в плен. В Аварии много занимаются арабским языком, и потому слог людей грамотных очень цветен. Гарам ханский всегда полон гостями и нередко просителями, которые, по азиатскому обычаю, не смеют показать глаз без пешкеша (подарка), хотя бы то был пяток яиц. Нукеры ханские, на числе и отважности коих опирается власть его, с утра до вечера толкаются во дворах и в комнатах хана, всегда с заряженными пистолетами за поясом и с кинжалом на брюхе (Азиатцы носят кинжал не на боку, а впереди. (Примеч. автора.)). Любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар обыкновенно каждый день являлись поутру на поклон к хану, оттуда всей гурьбой отправлялись к ханше и нередко целый день оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в отсутствие хана изобильно. Однажды приходит в беседу уздень аварский и за новость рассказывает, что невдалеке появился огромный тигр и что двое отличнейших стрелков легли жертвою его лютой.

Это так напугало наших охотников, что никто не решается в третий раз отведать удачи.

– Я отведаю счастья! – вскричал Аммалат, горя нетерпением выказать удалство свое перед горцами. – Пусть только наведут меня на след зверя.

Широкоплечий аварец измерил взором с ног до головы дерзостного бека и, улыбнувшись, молвил:

– Тигр не чета дагестанскому кабану, Аммалат! Его след нередко ведет к смерти!

– Неужели ты думаешь, – возразил тот гордо, – что на этой скользкой дорожке у меня закружится голова или дрогнет рука? Не зову тебя помогать, зову посмотреть моего боя с тигром. Я

надеюсь, ты согласишься тогда, что если сердце аварца твердо, как гранит его гор, то сердце дагестанца закалено, как славный булат их. Согласен.

Аварец был пойман.

Отказаться было бы постыдно, и он протянул руку, развеселил лицо...

— Охотно иду с тобою, — отвечал он. — Отлагать нечего; совершим клятву в мечети, и в путь и в бой неразлучно. Аллах судит: нам ли взять его кожу на чапрак или ему скушать нас.

Не в азиатском нраве, еще менее в азиатском обычае, прощаться с женщинами, отправляясь даже надолго, навсегда. Это принадлежит одним родным, и разве случаем выпадает гостю. Аммалат-бек со вздохом, однако ж, взглянул на окна Селтанеты и тихими шагами пошел к мечети. Там уже ожидали его старшины селения и толпа любопытной молодежи.

По старинному аварскому обыкновению, ловцы должны были поклясться на Куране, что не выдадут друг друга ни в битве со зверем, ни в преследовании; не покинут раненого, если судьба допустит, что зверь сломает его; будут защищать друг друга, лягут рядом, не щадя жизни, и во всяком случае без шкуры зверя не воротятся назад; или тот, кто преступит завет сей, да будет сброшен со скалы, как трус, как изменник.

Товарищи после присяги обнялись, мулла надел на них оружие, и они отправились в путь при громких кликах всей толпы.

— Или оба, или ни одного! — кричали им вслед.

— Убьем или умрем! — отвечали охотники.

Минул день. Укатил другой за хребты ледяные. Старики притомили глаза, глядя с кровель на дорогу. Мальчики далеко выбегали на окрестные холмы, чтобы встретить охотников: все их нет как нет. В целом Хунзахе, едва ль не у каждого очага, кто от безделья, кто от участия, толковали об этом, но всех более горевала Селта-нета. Крикнут ли на дворе, зашумит ли кто на лестнице, вся кровь у нее вспыхнет, как на огне можжевельник, и сердце запрыгает от ожидания; вскочит, бывало, бедняжка и побежит к окну или дверям и, в двадцатый раз обманутая, потупив очи, тихо пойдет за рукоделье, которое впервые показалось ей скучно и бесконечно. Наконец, за сомнением, и

страх наложил свою ледяную руку на сердце красавицы. Она спрашивала у отца, у братьев, у гостей, каков зверь тигр на рану, далеко ли, близко ли ходит он к селениям? И всякий раз, рассчитав время, она, сплеснув руками, говорила сама себе: «Они погибли!» и тихо клонила голову к неровно волнуемой груди, и крупные слезы катились по ее прелестному лицу.

На третий день оказалось, что опасения всех не были напрасны. Уздень, товарищ Аммалата в ловитве, насилу привлёкся один до Хунзаха. Кафтан его был изодран когтями звериными, сам он бледен как смерть и в изнеможения от голода и усталости. С изумлением, с любопытством обстали его и стар и мал, и вот что рассказывал он, подкрепив себя чашкою молока и куском чурека:

— В тот же день, как вышли отсюда, выследили мы тигра. Мы нашли его спящим между таким каменником и чащею, что аллах упаси. По жеребью досталось первому стрелять мне: я подкрался и наметил очень ловко; стрельнул... ах на беду зверь спал, закрыв морду лапою, и пуля, пробив ее, угодила в шею. Пробужден громом и болью, тигр взревел и в два прыжка прямо ринулся на меня, так что я не успел выхватить и кинжала; с размаху он сбил меня с ног, смял задними ногами, и только помню я, что в миг этого промежутка раздался крик и выстрел Аммалата и затем оглушающее, ужасное рыкание. Раздавленный, я потерял память и дыхание и, долго ли я лежал в обмороке, не ведаю.

Когда открыл я глаза, все было тихо кругом меня; мелкий дождь сеялся из густого тумана; был ли то вечер, было ли то утро? Мое ружье, подернутое ржавчиной, лежало подле; ружье Аммалата, переломленное пополам, невдалеке; там и сям обрызганы были камни кровью, только чьею кровью: тигровой ли, Аммалатовой ли, как дознаться? Выломленные кустарники лежали кругом: верно, зверь выторгнул их упорными прыжками. Я кликал, сколько было голосу, товарища; нет ответа. Посижу-посижу да еще покличу; напрасно! Ни зверя, ни птицы перелетной. Много раз пытался я идти, искать по следу Аммалата, или найти его, или умереть на его теле... хоть бы отомстить зверю за смерть удалого: силы нет. Взяло меня горе; я всплакался горько: зачем погибаю и телом и добрую славою! Решился было ждать смертного часа в пустыне,

только голод одолел меня. Дай, подумал я, повещу в Хунзахе, что Аммалат пропал без вести, и хоть умру между своими. Вот я и приполз сюда, как раздавленный змей. Братья! голова моя перед вами: судите как положит аллах на сердце.

Приговорите ли мне жить – буду жить, поминаючи вашу правду; приговорите умереть – и то воля ваша! – умру невинен. Аллах свидетель; я сделал что мог!

Ропот рассыпался по народу, когда выслушали пришельца. Одни правили, другие винули его, хотя и все жалели.

– Всякий себя охраняет, – говорили некоторые из обвинителей. – Кто порука, что он не бежал с поля? На нем нет раны, нет и свидетельства; а что он выдал товарища, это почти без сомнения! Не только выдал, может и нарочно предал, – толковали другие: они неладно между собою говаривали!

Ханские нукеры пошли еще далее; они подозревали, что уздень убил Аммалата из ревности. Он слишком умильно поглядывал на дочь ханскую, а ханская дочь не ему чету нашла в Аммалате.

Султан-Ахмет-хан, сведав, для чего собрался народ на улице, прискакал и сам на сходку.

– Трус! – сказал он вместе с гневом и огорчением узденю. – Ты пустил позор на имя аварское. Теперь может всякий татарин укорить нас, что мы зверям скормили гостя, не умея защитить его! По крайней мере мы сумеем за него отмстить: ты клялся на Куране по старине аварской не покидать в беде товарища и, если он падет, не ворочаться домой без шкуры зверя; ты изменил клятве, но мы не переступим завета: гибни! Даю три дня срок душе твоей, но потом, если Аммалат не найдется, тебя сбросят с утеса! Вы головами отвечаете мне за его голову! – примолвил он, обращаясь к своим нукерам, надвинул шапку на брови и поворотил к дому коня своего.

Тридцать горцев помчались из Хунзаха во все стороны проведывать хоть об останках буйнакского бека. У горцев священной обязанностью считается с честью похоронить своего родственника или товарища, и они часто, как омировские герои, кидаются в пыл битвы, чтобы выхватить из рук русских убитого собрата, и порой десятками падают на тело, которого не хотят выдать.

Несчастливого узденя повлекли на конюшню ханскую – место, заменяющее обыкновенно тюрьму. Народ, рассуждая о происшедшем, угрюм, но безропотен разошелся по домам, ибо приговор ханский был согласен правде их обычаев.

Печальная весть скоро проникла до Селтанеты; и, как ни желали смягчить ее, она жестоко поразила девушку, столь много любящую. Со всем тем она против ожидания казалась спокойною: не плакала, не жаловалась, по зато и не улыбалась более, не молвила слова. Ей говорила мать, она не слышала. Искры из трубки отца прожигали ее платье, она не замечала. Холодный ветер веял на грудь ее, она не чувствовала. Все ее чувства сжались в сердце на муку его; но это сердце глубоко лежало от взоров, и ничего не отражалось на гордом лице ее. Ханская дочь боролась с шестнадцатилетнею Селтанетою; можно было предсказать, кто падет прежде.

Но эта скрытая тоска удушала Селтанету; ей хотелось убежать от людских глаз и на свободе выплакать горе.

«Боже мой! – думала она, – зачем, потеряв друга, не имею права плакать о нем! Все так и смотрят на меня, чтобы посмеяться после; так и стерегут каждую слезку, чтобы поймать ее на злословный язык свой. Чужое горе им потеха».

– Секине! – молвила она своей прислужнице, – пойдем гулять по берегу Узени!

На треть агача (Агач – семь верст. Он называется конным.

Пешеходный -четыре версты. (Примеч. автора.)) расстояния от Хунзаха к западу есть развалины старинного христианского монастыря, уединенного памятника забытой веры туземцев. Рука времени, будто из благоговения, не коснулась самой церкви, и даже изуверство пощадило святыню предков. Она стояла цела между разрушенных келий и павшей ограды. Глава ее с остроконечною каменного кровлею уже почернела от дыхания веков; плющ заплел сеткою узкие окна, и в трещинах стен росли деревья. Внутри мягкий мох разостлал ковер свой, и в зной влажная свежесть дышала там, питаемая горным ключом, который, промыв стену, прислоненную к утесу, падал через каменный алтарь и распря-дался в серебристые, вечно звучные струны чистой воды, и потом, сочась в спаи плитного пола, вился ниже

и ниже. Одинокий луч солнца, закравшись сквозь окно, мелькал и переливался сквозь зыбкую зелень по угрюмой стене, как резвый младенец на коленях столетнего деда. Туда-то направила Селтанета свою прогулку; там-то отдохнула она от взоров и вопросов, тяготивших ее. Все было так мирно, так прелестно, так счастливо около нее, и все это тем более множило печаль – первую печаль ее.

Переливный свет на стене, лепетание ласточек и журчанье ключа растопило в слезы свинец, лежавший у нее на сердце, и горечь ее разлилась жалобами.

Секине убежала нарвать груш, растущих в изобилии около церкви, и Селтанета тем беззаветнее предалась природе, требующей облегчения.

И вдруг, подняв голову, она вскрикнула от испуга; перед нею стоял стройный аварец, забрызганный грязью и кровью. Кожа тигра падала наземь с плеч его.

Ужели твое сердце, твои глаза, Селтанета, не узнали своего любимца?

Нет, с другого взора она узнала Амма-лата и, забыв все на свете, кинулась ему на шею, обвила ее руками своими и долго, долго вглядывалась в истомленное, но всегда милое лицо, и, наконец, огонь уверения, огонь восторга заблистал сквозь не обсохшие еще слезы печали. Мог ли тогда удержать пылкий Аммалат радость свою? Он прильнул, как пчела, к розовым губкам Селта-неты. Он довольно слышал за минуту для своего счастья; теперь он был наверху блаженства. Еще ни слова не вымолвили любовники о любви своей, но они уже поняли ДРУГ друга.

– И ты, ангел, любишь меня? – произнес, наконец, Аммалат, когда Селтанета, застыдась поцелуя, уклонилась из его объятий.

– Ты меня любишь?

– Сохрани, Алла! – отвечала невинная девушка, опустья ресницы, но не очи. – Любишь! Это страшное слово. С год тому назад, проходя по улице, я увидела, как побивали камнями девушку; с ужасом убежала я домой, но нигде не могла спрятаться. Кровавая грешница везде стояла передо мною, и стон ее еще до сих пор отзывается в ушах моих. Когда я спросила, за что так бесчеловечно казнили эту несчастную, мне отвечали: она любила

одного юношу!

– Нет, милая, не за то, что любила она, а за то, что любила не одного, за то, что изменила, быть может, обоим, ее убили!

– Что значит изменила, Аммалат? Я не понимаю этого!

– О, дай бог, чтоб ты никогда не испытала, никогда не выучилась изменять, чтобы ты никогда не забыла меня для другого.

– Ах, Аммалат, в эти четыре дня я узнала, как тяжела для меня с тобой разлука! Бывало, долго не вижу братьев, Нуцала и Сурхая, и рада с ними свидеться, но без них не тоскую; без тебя же на свете жить не хочется!

– Для тебя готов я умереть, звезда моя утренняя, за тебя положу свою душу, не только жизнь, милая!

Шелест шагов прервал речи любящихся: то была прислужница Селтанеты.

Втроем они поспешили обрадовать хана, и хан был рад, был утешен непритворно.

Аммалат в коротких словах рассказал, как было с ним дело.

– Чуть завидел я павшего товарища впереди меня, я встретил зверя на лету пулею: она разбила ему челюсть. Чудовище с ужасным ревом кинулось кружиться, прыгать, метаться, несколько раз порывалось ко мне и снова, развлекаясь болью, бросалось в сторону. В это-то время, ударив его прикладом по черепу, изломал я ружье. Я долго гнался за ним, когда он пошел на уход, то на виду, то по кровавому слзду; между тем день вечерел, и когда я вонзил кинжал в горло павшего тигра, темная ночь падала на землю. Волей и неволею принужден я был ночевать, имея палатами утесы, а собеседниками – волков и чакалов. Утро было дождливо и туманно; облака, задевая меня за голову, выжимали, как губки, на мне свою воду. В десяти шагах перед носом ничего нельзя было видеть. Не видя солнца, не зная места, напрасно бродил я вокруг да около... дорога убегала меня, усталость и голод томили.

Застреленная из пистолета куропатка подкрепила на время силы, но все-таки не мог я найти выхода из этого каменного гроба. Только шум вод, ниспадающих с крутип, только шум крыльев пролетающих в туче орлов слышались мне вечером, а ночью

дерзкие чакалы в трех шагах от меня заводили свою плачевную песню. Сегодняшним утром красно встало солнце, и сам я встал бодрее, направил бег к востоку и скоро слышал крик и выстрелы: это были твои посланцы. Утомлен жаром, зашел я напиться чистой ключевой воды в старую мечеть и там нашел Селтанету. Благодарность тебе, слава богу!

— Слава Богу, хвала и тебе! — сказал, обнимая его, хан. — Но удалство твое чуть-чуть не стоило жизни твоей и вместе твоего товарища.

Промедли ты день, он бы отправился плясать лезгинку на воздухе. Кстати явился ты. Джембулат, известный наездник Малой Кабарды, присылал звать тебя в набег на русских: вот достойное тебе поле. Вместо того чтоб дразнить судьбу, гоняясь за тиграми, лучше гонять русских. Тебе же надо выкупить свою славу, плененную в прошлом бегстве. Время не терпит; завтра чем свет тебе должно отправиться.

Как ни досадна была такая весть Аммалату, но он скрепя сердце отвечал, что едет охотно. Он очень чувствовал, что громкое имя наездника есть порука будущих успехов.

Но Селтанета поблекла, склонилась, как цветок, головою, услышав о новой, грознейшей разлуке; взор ее, остановленный на Аммалате, выражал тоску опасения, боль предчувствия беды.

— Алла! — произнесла она с горестию, — опять набег, опять убийство!

Когда-то перестанет литься кровь на угорях?

— Когда горные потоки потекут молоком и сахарный тростник заколышется на снежных вершинах, — сказал хан с усмешкою.

Powestler